



Вторым способом частного добывания пищи были поездки на базар в город. Каждый день Калина Иванович запрягал Малыша — киргиза — и отправлялся за продуктами или в поход по учреждениям. За ним увязывались два-три колониста, у которых к тому времени начинала ощущаться нужда в городе: в больницу, на допрос в комиссию, помочь Калине Ивановичу, поддержать Малыша. Все эти счастливицы обыкновенно возвращались из города сытыми и товарищам привозили кое-что. Не было случая, чтобы кто-нибудь на базаре «засыпался». Результаты этих походов имели легальный вид: «тетка дала», «встретился со знакомым». Я старался не оскорблять колониста грязным подозрением и всегда верил этим объяснениям. Да и к чему могло бы привести мое недоверие? Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках пищи, представлялись мне неблагоприятными объектами для проповеди какой бы то ни было морали по таким пустяковым поводам, как кража на базаре бублика или пары подметок.

В нашей умопомрачительной бедности была и одна хорошая сторона, которой потом у нас уже никогда не было. Одинаково были голодны и бедны и мы, воспитатели. Жалованья тогда мы почти не получали, довольствовались тем же кондёром и ходили в такой же приблизительно рвани. У меня в течение всей зимы не было подметок на сапогах, и кусок портянки всегда вылезал наружу. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенными, аккуратными, прилаженными платьями.

## 4. Операции внутреннего характера

В феврале у меня из ящика пропала целая пачка денег — приблизительно мое шестимесячное жалованье.

В моей комнате в то время помещались и канцелярия, и учительская, и бухгалтерия, и касса, ибо я соединял в своем лице все должности. Пачка новеньких кредиток исчезла из запертого ящика без всяких следов взлома.

Вечером я рассказал об этом ребятам и просил вернуть деньги. Доказать воровство я не мог, и меня свободно можно было обвинить в растрате. Ребята хмуρο выслушали и разошлись. После собрания, когда я проходил в свой флигель, на темном дворе ко мне подошли двое: Таранец и Гуд. Гуд — маленький, юркий юноша.

— Мы знаем, кто взял деньги, — прошептал Таранец, — только сказать при всех нельзя: мы не знаем, где спрятаны. А если объявим, он подорвет<sup>19</sup> и деньги унесет.

— Кто взял?

— Да тут один...

Гуд смотрел на Таранца исподлобья, видимо не вполне одобряя его политику. Он пробурчал:

— Бубну ему нужно выбить... Чего мы здесь разговариваем?

— А кто выбьет? — обернулся к нему Таранец. — Ты выбьешь? Он тебя так возьмет в работу...

— Вы мне скажите, кто взял деньги. Я с ним поговорю, — предложил я.

— Нет, так нельзя.

Таранец настаивал на конспирации. Я пожал плечами:

— Ну, как хотите.

Ушел спать.

Утром в конюшне Гуд нашел деньги. Их кто-то бросил в узкое окно конюшни, и они разлетелись по всему помещению. Гуд, дрожащий от радости, прибежал ко мне, и в обеих руках у него были скомканные в беспорядке кредитки.

Гуд от радости танцевал по колонии, ребята все просияли и прибежали в мою комнату посмотреть на меня. Один Таранец ходил, важно задравши голову. Я не стал расспрашивать ни его, ни Гуда об их действиях после нашего разговора.

Через два дня кто-то сбил замки в погребе и утащил несколько фунтов сала — все наше жировое богатство. Утащил и замок. Еще через день вырвали окно в кладовой, — пропали конфеты, заготовленные к празднику февральской революции, и несколько банок колесной мази, которой мы дорожили, как валютой.

Калина Иванович даже похудел за эти дни; он устремлял побледневшее лицо к каждому колонисту, дымил ему в глаза махоркой и уговаривал:

— Вы ж только посудите! Все ж для вас, сукины сыны, у себя ж крадете, паразиты!

Таранец знал больше всех, но держался уклончиво, в его расчеты почему-то не входило раскрывать это дело. Колонисты высказывались очень обильно, но у них преобладал исключительно спортивный интерес. Никак они не хотели настроиться на тот лад, что обокрадены именно они.

В спальне я гневно кричал:

— Вы кто такие? Вы люди или...

— Мы урки<sup>20</sup>, — слышалось с какой-то дальней «дачи».

— Уркаганы!

— Врете! Какие вы уркаганы! Вы самые настоящие сявки<sup>21</sup>, у себя крадете. Вот теперь сидите без сала, ну и черт с вами! На праздниках — без конфет. Больше нам никто не даст. Пропадайте так!

— Так что же мы можем сделать, Антон Семенович? Мы не знаем, кто взял. И вы не знаете, и мы не знаем.

Я, впрочем, с самого начала понимал, что мои разговоры лишние. Крал кто-то из старших, которых все боялись.

На другой день я с двумя ребятами поехал хлопотать о новом пайке сала. Мы ездили несколько дней, но сало выездили. Дали нам и порцию конфет, хотя и ругали долго, что не сумели сохранить. По вечерам мы подробно рассказывали о своих похождениях. Наконец сало привезли в колонию и водворили в погребе. В первую же ночь оно было украдено.

Я даже обрадовался этому обстоятельству. Ожидал, что вот теперь заговорит коллективный, общий интерес и заставит всех с большим воодушевлением заняться вопросом о воровстве. Действительно, все ребята опечалились, но воодушевления никакого не было, а когда прошло первое впечатление, всех вновь обуюл спортивный интерес: кто это так ловко орудует?

Еще через несколько дней из конюшни пропал хомут, и нам нельзя было даже выехать в город. Пришлось ходить по хутору, просить на первое время.

Кражи происходили уже ежедневно. Утром обнаруживалось, что в том или ином месте чего-то не хватает: топора, пилы, посуды, простыни, чересседельника, вожжей, продуктов. Я пробовал не спать ночью и ходил по двору с револьвером, но больше двух-трех ночей, конечно, не мог выдержать. Просил подежурить одну ночь Осипова, но он так перепугался, что я больше об этом с ним не говорил.

Из ребят я подозревал многих, в том числе и Гуда и Таранца. Никаких доказательств у меня все же не было, и свои подозрения я припужден был держать в секрете.

Задоров раскатисто смеялся и шутил:

— А вы думали как, Антон Семенович, трудовая колония, трудись и трудись — и никакого удовольствия? Подождите, еще не то будет! А что вы сделаете тому, кого поймаете?

- Посажу в тюрьму.
- Ну, это еще ничего. Я думал, бить будете.
- Как-то ночью он вышел во двор одетый.
- Похожу с вами.
- Смотри, как бы воры на тебя не взъелись.
- Нет, они же знают, что вы сегодня сторожите, все равно сегодня не пойдут красть. Так что же тут такого?
- А ведь признайся, Задоров, что ты их боишься?
- Кого? Воров? Конечно, боюсь. Так не в том дело, что боюсь, а ведь согласитесь, Антон Семенович, как-то не годится выдавать.
- Так ведь вас же обкрадывают.
- Ну, чего ж там — меня? Ничего тут моего нет.
- Да ведь вы здесь живете.
- Какая там жизнь, Антон Семенович! Разве это жизнь? Ничего у вас не выйдет с этой колонией. Напрасно бьетесь. Вот увидите, раскрадут все и разбегутся. Вы лучше наймите двух хороших сторожей и дайте им винтовки.
- Нет, сторожей не найму и винтовок не дам.
- А почему? — поразился Задоров.
- Сторожам нужно платить, мы и так бедны, а самое главное, вы должны быть хозяевами.

Мысль о том, что нужно нанять сторожей, высказывалась многими колонистами. В спальне об этом происходила целая дискуссия.

Антон Братченко, лучший представитель второй партии колонистов, доказывал:

- Когда сторож стоит, никто красть не пойдет. А если и пойдет, можно ему в это самое место заряд соли всыпать. Как походит посыленный с месяц, больше не ползет.

Ему возражал Костя Ветковский, красивый мальчик, специальностью которого «на воле» было производить обыски по подложным ордерам. Во время этих обысков он исполнял второстепенные роли, главные принадлежали взрослым. Сам Костя — это было установлено в его деле — никогда ничего не крал и увлекался исключительно эстетической стороной операций. Он всегда с презрением относился к ворами. Я давно отметил сложную и тонкую натуру этого мальчика. Меня больше всего поразило то, что он легко уживался с самыми дикими парнями и был общепризнанным авторитетом в вопросах политических. Костя доказывал:

— Антон Семенович прав. Нельзя сторожей! Сейчас мы еще не понимаем, а скоро поймем все, что в колонии красть нельзя. Да и сейчас уже многие понимают. Вот мы скоро сами начнем сторожить. Правда, Бурун? — неожиданно обратился он к Буруну.

— А что ж, сторожить, так сторожить, — сказал Бурун.

В феврале наша экономка прекратила свое служение колонии, я добился ее перевода в какую-то больницу. В один из воскресных дней к ее крыльцу подали Малыша, и все ее приятели и участники философских чаев деятельно начали укладывать многочисленные мешочки и саквояжики на сани. Добрая старушка, мирно покачиваясь на вершине своего богатства, со скоростью все тех же двух километров в час выехала навстречу новой жизни.

Малыш возвратился поздно, но возвратилась с ним и старушка и с рыданиями и криками ввалилась в мою комнату: она была начисто ограблена. Приятели ее и помощники не все сундучки, саквояжики и мешочки сносили на сани, а сносили и в другие места, — грабеж был наглый. Я немедленно разбудил Калину Ивановича, Задорова и Таранца, и мы произвели генеральный обыск во всей колонии. Награблено было так много, что всего не успели как следует спрятать. В кустах, на чердаках сараев, под крыльцом, просто под кроватями и за шкафами найдены были все сокровища экономки. Старушка и в самом деле была богата: мы нашли около дюжины новых скатертей, много простынь и полотенец, серебряные ложки, какие-то вазочки, браслет, серьги и еще много всякой мелочи.

Старушка плакала в моей комнате, а комната постепенно наполнялась арестованными — ее бывшими приятелями и сочувствующими.

Ребята сначала запирались, но я на них прикрикнул, и горизонты прояснились. Приятели старушки оказались не главными грабителями. Они ограничились кое-какими сувенирами вроде чайной салфетки или сахарницы. Выяснилось, что главным деятелем во всем этом происшествии был Бурун. Открытие это поразило многих и прежде всего меня. Бурун с самого первого дня казался солиднее всех, он был всегда серьезен, сдержанно-приветлив и лучше всех, с активнейшим напряжением и интересом учился в школе. Меня ошеломили размах и солидность его действий: он запрятал целые тюки старушечьего добра. Не было сомнений, что все прежние кражи в колонии — дело его рук.

Наконец-то дорвался до настоящего зла! Я привел Буруна на суд народный, первый суд в истории нашей колонии.

В спальне, на кроватях и на столах, расположились оборванные черные судьи. Пятилинейная лампочка освещала взволнованные лица колонистов и бледное лицо Буруна, тяжеловесного, неповоротливого, с толстой шеей, похожего на Мак-Кинлея<sup>22</sup>, президента Соединенных Штатов Америки.

В негодующих и сильных тонах я описал ребятам преступление: ограбить старуху, у которой только и счастья, что в этих несчастных тряпках, ограбить, несмотря на то, что никто в колонии так любовно не относился к ребятам, как она, ограбить в то время, когда она просила помощи, — это значит действительно ничего человеческого в себе не иметь, это значит быть даже не гадом, а гадиком. Человек должен уважать себя, должен быть сильным и гордым, а не отнимать у слабых старушек их последнюю тряпку.

Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело, но на Буруна обрушились дружно и страстно. Маленький вихрастый Братченко протянул обе руки к Буруну:

— А что? А что ты скажешь? Тебя нужно посадить за решетку, в допр посадить! Мы через тебя голодали, ты и деньги взял у Антона Семеновича.

Бурун вдруг запротестовал:

— Деньги у Антона Семеновича? А ну, докажи!

— И докажу.

— Докажи!

— А что, не взял? Не ты?

— А что, я?

— Конечно, ты.

— Я взял деньги у Антона Семеновича? А кто это докажет?

Раздался голос Таранца:

— Я докажу.

Бурун опешил. Повернулся в сторону Таранца, что-то хотел сказать, потом махнул рукой:

— Ну, что же, пускай и я. Так я же отдал?

Ребята на это ответили неожиданным смехом. Им понравился этот увлекательный разговор. Таранец глядел героем. Он вышел вперед.

— Только выгонять его не надо. Мало чего с кем не бывало. Набить морду хорошенько — это, действительно, следует.

Все примолкли. Бурун медленно повел взглядом по рябому лицу Таранца.

— Далеко тебе до моей морды. Чего ты стараешься? Все равно завколом<sup>23</sup> не будешь. Антон набьет морду, если нужно, а тебе какое дело?

Ветковский сорвался с места:

— Как — «какое дело»? Хлопцы, наше это дело или не наше?

— Наше! — закричали хлопцы. — Мы тебе сами морду набьем получше Антона!

Кто-то уже бросился к Буруну. Братченко размахивал руками у самой физиономии Буруна и вопил:

— Пороть тебя нужно, пороть!

Задоров шепнул мне на ухо:

— Возьмите его куда-нибудь, а то бить будут.

Я оттащил Братченко от Буруна. Задоров отшвырнул двух-трех. Насилу прекратили шум.

— Пусть говорит Бурун! Пускай скажет! — крикнул Братченко.

Бурун опустил голову.

— Нечего говорить. Вы все правы. Отпустите меня с Антоном Семеновичем, — пусть накажет, как знает.

Тишина. Я двинулся к дверям, боясь расплескать море зверского гнева, наполнявшее меня до краев. Колонисты шарахнулись в обе стороны, давая дорогу мне и Буруну.

Через темный двор в снежных окопах мы прошли молча: я — впереди, он — за мной.

У меня на душе было отвратительно. Бурун казался последним из отбросов, который может дать человеческая свалка. Я не знал, что с ним делать. В колонию он попал за участие в воровской шайке, значительная часть членов которой — совершеннолетние — была расстреляна. Ему было семнадцать лет.

Бурун молча стоял у дверей. Я сидел за столом и еле сдерживался, чтобы не пустить в Буруна чем-нибудь тяжелым и на этом покончить беседу.

Наконец Бурун медленно поднял голову, пристально глянул в мои глаза и сказал медленно, подчеркивая каждое слово, еле-еле сдерживая рыдания:

— Я... больше... никогда... красть не буду.

— Врешь! Ты это обещал уже комиссии.

— То комиссии, а то — вам! Накажите, как хотите, только не выгоняйте из колонии.

— А что для тебя в колонии интересно?

— Мне здесь нравится. Здесь занимаются. Я хочу учиться. А крал потому, что жрать хочется.

— Ну, хорошо. Отсидишь три дня под замком, на хлебе и воде. Таранца не трогать!

— Хорошо.

Трое суток отсидел Бурун в маленькой комнатке возле спальни, в той самой, в которой в старой колонии жили дядьки. Запирать я его не стал, дал он честное слово, что без моего разрешения выходить не будет. В первый день я ему действительно послал хлеб и воду, на второй день стало жалко, принесли ему обед. Бурун попробовал гордо отказать, но я заорал на него:

— Какого черта, ломаться еще будешь!

Он улыбнулся, передернул плечами и взялся за ложку.

Бурун сдержал слово: он никогда потом ничего не украл ни в колонии, ни в другом месте.

## 5. Дела государственного значения

В то время когда наши колонисты почти безразлично относились к имуществу колонии, нашлись посторонние силы, которые относились к нему сугубо внимательно.

Главные из этих сил располагались на большой дороге на Харьков. Почти не было ночи, когда бы на этой дороге кто-нибудь не был ограблен. Целые обозы селян останавливались выстрелом из обреза, грабители без лишних разговоров запускали свободные от обрезов руки за пазухи жен, сидящих на возах, в то время как мужья в полной растерянности хлопали кнутовищами по холявам и удивлялись:

— Кто ж его знал? Прятали гроши в самое верное место, жинкам за пазуху, а они — смотри! — прямо за пазуху и полезли.

Такое, так сказать, коллективное ограбление почти никогда не бывало делом «мокрым». Дядьки, опомнившись и простоявши на месте назначенное грабителями время, приходили в колонию и выразительно описывали нам происшествие. Я собирал армию, вооружал ее дрекольем, сам брал револьвер, мы бегом устремлялись к дороге и долго рыскали по лесу. Но только один раз поиски наши увенчались успехом: в полуверсте от дороги мы наткнулись на группу людей, притаившихся в лесном сугробе. На крики хлопцев они ответили одним выстрелом и разбежались, но одного из них все-таки удалось схватить